

• КУЧОВО ПОЛЕ •

Д. А. Фурманов

ДНЕВНИК

1914—1916

ВОЕННЫЕ



МЕМОАРИ

Дмитрий Андреевич Фурманов

Дневник. 1914-1916

Серия «Военные мемуары (Кучково поле)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17181855

Дневник: 1914-1916. / Фурманов Д. А.: Кучково поле; Москва; 2015

ISBN 978-5-9950-0551-3

Аннотация

Дмитрий Фурманов – военный и политический деятель, журналист, прозаик. Дневник охватывает период с 1914 по 1916 год и описывает события Первой мировой войны, во время которой автор служил в качестве брата милосердия на Кавказском фронте, в Галиции, под Двинском. Эти записи отличаются глубокой искренностью, автор делится своими личными впечатлениями, рассказывает о беседах с простыми солдатами и мирными жителями, непосредственными свидетелями военных действий и ситуации в тылу. Книга адресована всем интересующимся военной историей.

Содержание

1914 и 1915 годы	8
22 ноября 1914 г.	8
26 ноября	11
27 ноября	12
6 января 1915 г.	13
7 февраля	27
1 февраля	35
20 марта	38
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Дмитрий Фурманов

Дневник: 1914-1916

Публикуется по изданию:

Фурманов Д. А. Дневник: 1914-1915-1916 / под. ред. А. Фурмановой. 2-е изд. М.: Московский рабочий, 1930.

Что представляют собой дневники Д. Фурманова? С внешней стороны это большое количество записных книжек, тетради, большие конторские книги, просто сшитые листы. Все дневники написаны четким почерком с применением целого ряда обозначений и сокращений. Имена и некоторые слова зашифрованы особенным фурмановским шифром: русское слово написано немецкими вперемежку с французскими буквами.

Подчас расшифровка представляет громадную трудность, потому что Фурманову хотелось написать побольше и поскорее, мысли опережали писание, и ни о слоге, ни о знаках препинания думать ему не приходилось. Чрезвычайно трудно было при отсутствии запятых и слитности слов разбивать фразы и отдельные слова, определять само слово, так как некоторые буквы имеют одинаковое начертание. Но одними буквами шифр не ограничивается, введены особые знаки для обозначения некоторых слов.

Дневники писались Фурмановым не для печати, при об-

становке, далеко не располагающей к отделяванию слога и порой самой неожиданной: то под видом студенческой работы на глазах у всех, то на университетских лекциях, в окопах, в поезде, перед боем, в бою. Немудрено, что язык его иногда не отличается изяществом. Стилистические поправки, может быть, сделали бы эти записки более понятными для читателя, но они отняли бы у этих драгоценных человеческих документов колорит подлинности, а потому считаем их недопустимыми.

Будучи журналистом и братом милосердия, Д. Фурманов в 1914–1916 гг. побывал на всех фронтах, на Кавказском: Сарыкамыш – Карс – Эривань – Джульфа, побывал в Галиции, наконец, попал на германский фронт под Двинск – Казаны.

Фурманова все интересовало: и жизнь в окопах, и быт на стоянках, и переживания солдат во время боя. Бессонными ночами, дежуря у раненых, Фурманов выпрашивал у них о боях, о враге, о деревне, о семьях и сейчас же записывал все в дневники.

Я помню такой случай: Георгий Гребенщиков, находящийся теперь за границей, заведовал 28-м Сибирским отрядом, где находился и Фурманов. Отношения вначале у них были хорошие, а потом Фурманов стал обрывать Гребенщикова за грубость к солдатам, за нечуткое отношение к их переживаниям. Однажды, после крупного скандала, Фурманов спокойно взял книжку и стал записывать. Гребенщиков,

разозленный, подскочил к нему.

– Что, для истории записываете? Гребенщикова зверем выставляете? Журналистишка несчастный! Я разорву ваши записки! К черту, к черту! Как писарь, носится с пером и книжкой. Чтобы не было этого, слышите, иначе вон-вон из моего отряда. Мне доносчиков не надо, студентишко, недоучка!

Фурманов спокойно продолжал писать, вывел из терпения Гребенщикова, а через несколько дней Фурманова в отряде уже не было.

Из-за записных книжек у Фурманова не раз были неприятности и с Чапаевым, который также думал, что Фурманов строчит донос на него.

– Ты эти глупости брось, – говорил Чапаев. – Меня на словах не поймешь, я знаю, что ты все мои слова записываешь, – Михаилу Васильевичу жаловаться!

Не знал он того, что по этим запискам будет написана книга «Чапаев», не знал и того, какие ценные материалы оставил Фурманов, ведя эти записи.

Эти записки предназначал он для своей большой работы «Эпопея гражданской войны». Фурманов не был еще коммунистом, но читатель, прочитав эти записки о войне, ясно представит себе дорогу, по которой должен был идти Фурманов. Через записки о войне, через «Путь к большевизму» Фурманов пришел в Коммунистическую партию, которой и отдал все свои знания, здоровье и силы.

Москва, 28 апреля 1929 г.

Анна Фурманова

1914 и 1915 годы

22 ноября 1914 г.

Еду в санитарном поезде. Путь – Вятка, Вологда, Екатеринбург. два доктора, два брата, три фельдшерицы, пять сестер. Знаком мало, узнал мало.

Прежде всего и сильнее всего поразила меня расточительность на персонал. Закупаем бог знает что – даже моченые яблоки. Обед из трех блюд; компоты, яблоки, кисели, желе. Возмутительно. Там, где-то, чуть ли не умоляют принести огарки свеч, худые штаны, дребедень разную, а здесь – из трех блюд. Интеллигенция – конечно, но все знают, на что едут, до какой степени можно сократить.

Можно и (верю) согласились бы все уменьшить бюджет, по крайней мере, наполовину. Масса идейных, серьезных работников, вначале и не помышлявших о вознаграждении, но отказываться в одиночку нет сил, да и смысла мало: не поможешь. На передовых позициях платят громадные деньги, в то время как у дверей всех союзов стоят целые кадры желающих работать добровольно и бесплатно. Откуда-то свыше санкционированы все эти шальные расходы, и масса денег уплывает попусту. Надо понимать общее положение дела, до дна, а тут все как-то поверху. Затей много – крупных, необ-

ходимых, целесообразных, но форма как-то всюду неумна. Чужие деньги. Этим все объясняется. Приходят бог знает откуда эти страдающие. Мы ведь воочию-то не видим страданий, только слышим о них да читаем. А где ж тут почувствовать все?! Отклики. Отзвуки. Грустно видеть, как все эти добрые дела обрастают какой-то шелухой, загрязняются, утрачивают красоту своего существа, своей первоосновы.

Совет в Филях. Решены ночные дежурства. Сестры, конечно, на дыбы. Нашлось много обходов: нецелесообразность, опасность ночных осмотров, скука, беспокойство. Мы с товарищем доделили первую ночь. Я осматривал, спрашивал. Сидит солдатик и плачет.

– Что плачешь? – спрашиваю.

– Рука болит, ломит всю, спать не дает.

Посмотрел: сквозная рана почти у самого плеча совершенно подсохла. Ничего страшного. Ломит кисть и несколько выше. Успокоил, сказал, что доктора приведу. Оказалось, что разнервничался, устал он. Принес я ему таблетку морфия. Смотрю: уж улыбается, сидит спокойный, такой веселый, видно, что верит в помощь «белого человека». Принял таблетку, улегся; конечно, уж успокоенный лег. Верно, заснет теперь крепко. Как же вот тут ночная-то помощь не нужна? Всю-то ночь промаяться не шутка! А мало ли таких-то случайностей может быть.

Ровное настроение, хорошее самочувствие, видно, что кругом все хорошие люди, только не сошлись еще. Дичимся,

замалчиваем, сторонимся друг друга как-то инстинктивно. Новички. Но видно уже заранее, что на мужской половине все будет дружно, за женскую не отвечаю.

26 ноября

Когда впервые явилась эта мысль, она казалась такой необъемлемо широкой, важной, самоценной. Чудилось дело, могущее заполнить все существо – без обычных мелочей, раздражительных и пошлых. Я даже видел свое лицо в перспективе: оно было серьезно, сосредоточенно, проникнуто одною лишь мыслью о важности самого дела. Даже улыбки не было на лице – так было оно сурово, серьезно, ревниво к своему молчаливому покою. Вся жизнь ушла в дело. Пусть первоначальная мысль избрала это дело средством самоубийства, пусть. Я и теперь держусь еще той же мысли, хоть и ослабевшей, но самое дело, как дело, громадно, значительно и слишком важно, чтобы подпускать к себе шутку. Но первоначальная форма дела разбилась: вместо боя – стоим, вместо неперевязанных искалеченных бедняков – я вижу только широкие белые поля, разбросанные деревеньки да красивую густую шапку занесенных белых елей.

27 ноября

Здесь, на Урале, странно дико. Те же ели, что и у нас, те же поля, прогалины, овраги, но вы чувствуете сразу, что тут непробудная, первобытная глушь. Лес словно втягивает в себя: опушка такая же редкая, чистая, как и у нас, но пройдите несколько шагов, и вы увидите, как деревья сжимаются, как опушка переходит в чащу. А день солнечный, светлый, радостный. Все серебрится кругом и блещет чисто праздничной, северной красотой. Скоро будет Гороблагодатная, – увидим ворота из Европы в Азию. Мужички говорят, что здесь много медведей.

– Идешь, а он, косолапый, уж хрустит по ельнику. Почует тебя аль увидит – и наутек.

– А не трогает? – спрашиваю я.

– Куды ему? Разя тронет? Никогда не тронет, это только мы ему не даем покою-то, – засмеялись мужички.

Много тетеревов, глухарей, рябчиков.

6 января 1915 г.

На турецкий фронт

Мне как-то стыдно об этом писать. Так мелко, так пошло, что не стоило бы и говорить, но дело обострилось, и хочется поговорить о нем. Тем более что тут много интересных психологических оттенков и самых неожиданных осложнений. Наши женщины, почти все, крайне несимпатичны своей мелочностью. А в общежитии уже одно это является крупным недугом. То и дело слышишь тайные совещания и шушуканье за углом: «Я сказала. Он сказал, что я сказала, а он говорит, что а...» и проч., и проч. без конца. Получилось много интриг – смешных, глупых, возмутительных. Тут еще целый месяц безработицы, ужасная деморализация – ну, словом, создалась самая удобная каша для скандала. Мы взвинтились до последней степени, как-то невольно упустили из виду нашу главную цель и сконцентрировали все свое внимание на этой стороне жизни. Раз вечером, впятером, выкурив свой товарищеский брудершафт, мы разговорились о ненормальности обстановки, отсутствии общего товарищества и невольно пришли, сами того не замечая, к необходимости предложить ультиматум нашему старшему начальству: или мы, или они. Вышло случайно, но чем дальше и глубже мы

копались, тем больше отыскивали причин и поводов к этому решению. Дело сделано: написали протест, подписались, подали. Старший врач женщина – отчаянный трус – не приняла нашей бумаги, и пришлось идти в местное отделение Земского союза, где как раз находился в это время уполномоченный и глава 7-го полевого отряда Полнер. Подали свою бумагу не ему, а другому – Глебову. Тот отнесся довольно сочувственно и обещал разобраться. Так в тоске прошло несколько дней – неопределенных, мучительных, противных своей туманностью. Бумага была коротка, там значилось: «Имеем честь доложить Земскому союзу, что мы оставляем поезд, не имея возможности работать с некоторыми лицами медицинского персонала». Следовали подписи. И так мы промучились 3–4 дня. Отправки и ждать было нечего. Мы отчаивались и решили отправиться с первым попавшимся поездом под Сарыкамыш, надеясь там найти работу. Был уже поздний вечер. Мы сидели и пили чай у себя в купе. Влетает товарищ и сообщает неожиданную весть: в три часа ночи едем под Сарыкамыш. Как громом ударило нас. И обрадовались сразу, и смутились. Собрали живо, что было можно, утром тронулись. Вот и все. Но здесь ценны некоторые частности. Сейчас я о них и скажу.

Новый наш товарищ Яков Альбертович был, конечно, во всем с нами заодно, он был даже один из упорных. Главою нашего заговора мы выбрали заведующего П. Е. Ему приходилось вести все переговоры с врачами, ему всегда были ко-

зыри в руку. Врач в последнем разговоре пыталась ему разъяснить, что все это слишком мелко, недостойно внимания и унизительно. Что она и сама, может быть, ушла бы давно из этой тянучки, но боится – не пострадал бы поезд, не раскассировали бы его, да еще, конечно, держит и сама святость работы. Н. Е., конечно, передал все это нам, и как раз в то время, когда мы шли в союз подавать бумагу. Яша сделался вдруг молчалив, задумчив и все время жаловался на страшную тягу в душе. В последнюю минуту он отказался от нашей затеи: «совесть, говорит, не позволяет, думайте обо мне что хотите, но я останусь. Пусть обстановка будет тяжелая, буду держаться за дело и терпеть». Произошел форменный разрыв. Наша шестерка распалась. Написали тут же новые бумаги с пятью подписями и дали Глебову. Он остался в коридоре один, опустив голову на руки. Картина была не из веселых. Все мы сразу почувствовали какую-то неловкость: он стал уже не «нашим», не «своим», как мы называем членов нашей коммуны. Потом подошел к нам и как-то робко все пытался что-то объяснить о высшем принципе, но выходило плохо. Да его и слушали плохо. «Только не дай бог, господа, – заключил он, – кому-нибудь из вас переживать то, что я теперь переживаю». И действительно, на него было жалко смотреть. Естественно, что каждый мог толковать его поступок и вкось и вкривь. Но я поверил почему-то сразу и во все. Он подкупил меня своей серьезностью. Для меня было ясно, что тут нет ни трусости, ни измены. Его, действитель-

но, поразила та ничтожность, из-за которой мы все решили пожертвовать большим и важным делом. Неловкость создавалась, и ее все чувствовали. Если бы он заявил смело и решительно, вышло бы лучше, а он как-то робко, хотя и окончательно, высказался перед нами, и видно было, что боялся товарищеского суда. После он говорил мне, что, сидя один, все думал, что мы говорим о нем, как осуждаем его за измену, какие даем ему названия.

Ночью объявили, что на заре выезжаем. Все как-то ободрились. Это ехали еще не в Сарыкамыш, а в Навтлуг, куда должно было прибыть более тысячи раненых. Когда на работе я вспомнил наш разлад, он так показался мне ничтожен, так гадок, что я решил остаться во что бы то ни стало. И что значат наши мизерные разлады в сравнении с этой настоятельной необходимостью помогать изуродованным солдатам? Накануне я сильно разладил с врачом, грубо оборвал его, так грубо, что он бросил тарелку, убежал к себе в купе и заплакал. Дело вышло так: в Навтлуг брали не всех. Мне страшно хотелось ехать, но я отказался ехать лишь на том основании, что я явился первый к доктору и объявил о своем желании ехать. Я требовал жеребьевки, потому что ехать хотелось всем. На этой почве и произошло недоразумение. Тут, в горячей работе, мне сделалось стыдно и жалко врача, я вызвал его в коридор, взял руку и попросил извинения. И вышло так хорошо, так просто. Мне сделалось легко. Я объявил товарищам о своем решении; вместе со мной был заод-

но и Александр Павлович. Остальные еще не дали окончательного ответа. На следующий день рано утром мы уехали в Сарыкамыш, и дело пока приостановилось. Но теперь стоит другая задача. Если бы я шел только против товарищества, то я остался бы с легкой душой, но здесь затронуто еще дело чести. Николая Евгеньевича мы, можно сказать, подбили на это дело, и теперь выходит так, что, подбив, бросаем. Он должен уходить, потому что ему нечем оправдать свое желание остаться после такого официального отказа. У нас совсем другое дело: мы просто чистосердечно расскажем, что, побывав снова на работе и увидев воочию все ужасы, решили отказаться от своего старого решения. У нас причина слишком очевидная и осмысленная, а у него что? Товарищество, за компанию? По-мальчишески выходит, да и не согласится он на это сам никогда. И выходит гадко: затравили и оставили одного. Дело еще может решиться само собой. Елена Романовна, кажется, думает уходить сама, а Гречушка выходит замуж. Эта тоже долго не наездит. Теперь Яша снова наш. И как он рад, как теперь он тепло и дружески относится ко мне. Но если только он останется один – какая же это будет для него мука!

Одной из крупных ошибок всех организаций санитарного отдела является назначение женщин в качестве старших врачей. Где нужно смелое, твердое и прямое слово, там бессильны и даже несколько смешны приемы женской психики. Много вопросов остаются неразрешенными: к женщине

с ними не подойдешь, а подойдешь – рискуешь быть понятым лишь наполовину. Да хорошо еще, если душа поистине теплая и любящая, – там недостаток твердости и уверенности до известной степени покрывается лаской и приютом. А что вы будете делать, если попадетсЯ вам в начальники такой вот отвлеченный человек, как наша женщина-врач? Она нас всех словно совсем и не замечает, словно нас и нет подле нее, словно тревога нашей жизни – не общие тревоги. Она, быть может, хорошая, тихая жена, спокойный кабинетный работник, – но и только. Нужду нашу, потребность общего согласия она глушит своим возмутительным равнодушием и остается покойной, не захваченной высоким пульсом общей тревоги. Это, конечно, с известной точки и хорошо, но хорошо лишь для нее самой, а не для нас. Поставленная в голову жизни целой семьи идейных людей, собравшихся бог знает откуда для хорошего дела, побросавших свои дела, отрекшихся на время от своего покоя и уюта, – она могла бы широко использовать эту благодарную почву.

Здесь так напряженно, так близко к порыву, что играть на струнах этих возбужденных душ совсем не трудно, – надо только иметь в душе хоть маленькую искорку. А она – отъединенная, сторонящаяся общей, круговой поруки – создала нам такую тоску, такую скуку, что больно писать. Когда мы вместе, ее присутствие действует подобно молоту, занесенному над простой, хорошей речью, подобно молоту, готовому все пришибить своей молчаливой тяжестью. Она мол-

чит, она редко перечит, но в том и все горе. Легкая улыбка, невольный кивок головой – достаточно и этого, чтобы пришибить живое слово. И нам гадко, противно быть с нею – с этим безукоризненным, тактичным, но безжизненным и затхлым существом. Это отъединение, впрочем, дало и благие результаты. Мы отъединились сами и на почве протеста составили свою знаменитую в известном смысле «шестерку». Категорически заявленный нами протест против двух сестер-барынь кончился в нашу пользу. Их выгнали с триумфом. Ну и действительно уж были барыни! Словно они и не на работе, а где-нибудь на водах, на курорте. Чувствовали себя великолепно, требовали вместо чаю какао, раздражались на непрожаренные котлеты, гоняли целый день прислугу по своим гадким и смешным надобностям; заявляли громкие протесты по поводу папироски, выкуренной возле их купе, и проч., и проч. Фактики мелочные, даже гаденькие, но мы, пожалуй, учитывали не столько эти фактики, сколько общий дух поведения и видимое непонимание ими благородства и святости нашей работы. На поставленный ультиматум: мы или они, нам ответили, что одну уж давно зовет муж, а другая не хочет, чтобы из-за нее одной уходило пять-шесть человек, а потому уходит сама. Ясно было, что их прогоняли, тем более что и сами врачи дорожили ими только на словах, ратовали больше за себя, чем за них, видя в нашем возможном успехе, в нашей победе и свое собственное поражение. Врачи наши – типичные слюнявые, воркующие бабы. Это ничего,

что второй врач мужчина, — он, пожалуй, даже будет похуже и поразмазистей любой бабы. Он женат, есть, кажется, ребяташки, но еще совсем молодой — лет 28–30. Бесхарактерность удивительная, мысль поразительно короткая и неглубокая, близорукость восхитительная до смешного и в придаток ко всему мягкая, засыпающая под любой говорок души. Он милый, легкий в жизни человек. Жена уж, верно, молится за своего Маркушечку, а у детей нет лучше моментов, как сидеть у него на коленях, ласкаться и играть золотой цепочкой, переброшенной по нарастающему маленькому, беленькому животику. Молодой барчонок, понявший прелесть расстегнутых и заношенных студенческих мундиров, родовой патриций, прошедший несколько лет в кругу плебеев, — он не оттолкнулся от плебеев, а, напротив, по-своему полюбил и оценил их. С ним жить легко каждому, кто не ищет в мужчине истинного мужчину. Он мягок, словно воск, а когда случайно вспыхнет, то становится смешным, как молодой разлагавшийся теленок. Но — как это ни странно — он о себе как раз противоположного мнения. Он подозревает в глубине своей души наличность еще непочатых углов решимости, прямолинейности, стойкости, умной и деловой распорядительности и... неумолимости в сложных и путаных делах. Мы смеемся от души, когда он начинает обнажать перед нами эти непочатые углы. По близорукости он не видит насмешки и шумный, порою даже слишком ядовитый наш восторг принимает за чистую монету и понимает по-своему.

Мы уже больше не возмущаемся его распоряжениями, не сетуем злобно на то, что у него «на дню семь пятниц», а попросту не обращаем, где это можно, на его распоряжения внимания и стараемся успокоить милого ребенка, что все будет хорошо. А успокоить, уговорить его так легко. Смотришь – вот уже и глазки хлопают сочувственно, и голова покачивается в такт речи, – это значит: все готово, все кончено.

Порожняя могила

Рассказывал все это молодец лет 25–26, георгиевский кавалер, конный разведчик одного из туркестанских полков. «Теперь, – говорит, – мы стали какие-то бесстрашные. Да положи меня прежде рядом с покойником – да разве лягу? – нипочем! А тут вот как-то пришлось в одной комнатке заночевать. Туда сперва было забрались курды, человек шесть, да мы с товарищем пригвоздили их. Ну, товарищ-то уехал на другой край, а мне и пришлось среди мертвецов-то... Подостлал соломки да и лег возле коня. Ничего. Хоть бы што. Да и много бы, кажется, тут страху, только свыкаешься под конец. А особенно, когда в атаку бежишь. Сердце так вот голубем и прыгает, так я прыгает. Глаза сделаются злые, как раскаленные. Только вот тогда и хочется одного: скоро, скоро ли добегу. Колоть, рубить хочется.» И глаза у него действительно блестели недобрым огнем. Видно, что в таком состоянии удесятерилась сила, ловкость и сообразительность.

Шапка у него свалилась на затылок, он весь разгорелся, пот катился по загорелым, здоровым щекам, и он утирал его рукавом своей шинели.

И сколько тут народу перегубишь, боже ты мой! И все тебе ничего – совесть не мучит ни капельки. А вот был у меня такой случай, что совесть и до сих пор не совсем спокойна.

Это было года три назад. Мы стояли в деревушке. А тут неподалеку был пироксилиновый завод. У этого самого завода всегда стояли часовые. Ну, вот однажды стоял на часах Андрей Сахаров. Высокий был парень, красивый, волосы до плеч, большого был образования, ученый какой-то. Только с поста-то он и убежал в Персию. Тут недалеко от границы было, и скрыться можно было легко. Послали погоню. Верст за пять до границы увидали его. Да, знать, парень-то был не промах: наладил так метко, что полковника этого самого сразу уложил, а других поранил. Так и убежал. Там он женился, веру переменял на персидскую. Только повздорил он однажды со своими работниками, с персами, а те и донесли кому следует, что вот-де этот самый русский хотел перерезать их, персов. Ну русского и передали нашему правительству.

Суд был маленький, приказано было расстрелять. Помню, поздно вечером пришел к нам ротный командир. Ну, мы, конечно, ничего не знали. «Ложитесь, – говорит, – братцы да приготовьтесь: захватите боевые патроны, всю амуницию да так готовые и спите, а на заре я вас разбуджу». Подумали мы, подумали, да так в беспокойстве и заснули. Пришел он, раз-

будил нас ночью. «Вот что, – говорит, – братцы. Нам пал жребий расстрелять нашего бывшего товарища – Сахарова. Делать нечего. Цельтесь вернее, чтобы смерть пришла сразу, а то раните только – будет мучиться, да и все равно добивать велят, а вам тогда один позор. Так что берите вернее, конец один. Как я подниму шапку – берите на прицел; как опущу – так спускайте курки». Пошли мы. Привели Сахарова. Привязали веревками к столбу, а у самого столба глубокая яма. Он все такой же был, только похудел немного. Выстроили нас, 33 человека, а за нами, сзади, построили еще без мала полуроту, – это на случай, если мы не будем стрелять, так чтобы те перестреляли нас всех. Мы в него нацелились, а те за спиной-то держат ружья по нашим спинам и головам. Приговора все еще не было, за ним уехали. Потом привезли приговор, стал его полковник читать: то-то и то-то, покушался, говорит, на того-то и бросил не вовремя завод и прочее и прочее.

А Сахаров стоял такой мрачный да оттуда как крикнет: «Врете, вы, все врете!» «Заткнуть ему рот!» – крикнул командир. Заткнули. Дочитали приговор. Привели старика священника. Только он не досмотрел, свалился по дороге-то в эту самую яму, что Сахарову была готова. Вытащили его, ушибся больно. Потом стал говорить Сахарову о покаянии и причастии и прочем. Только не слушал его тот, отвернувшись, а потом как-то сразу крикнул: «Пошел прочь! Убивают человека да его же и успокаивают. Лицемеры!» Отказался от

всего – и веру персидскую оставил при себе (да, говорят, он и никакой верой не дорожил). Глаза не велел себе завязывать. Дочитал командир, и слезы у него покатались из глаз. Хороший был он человек, добрый...

Снял... шапку, поднял ее... Щелк!.. Это мы взвели курки. А Сахаров стоит, не дрогнет, головой не тряхнул. Смотрит прямо в дула вам, и только по лицу словно морщины побежали. Быстро опустил начальник шапку. Трах! Все 33 пули попали. Все ему разmozжили, по всем частям попало.

А он как стоял привязанный, – так и остался, – только голову склонил немного на бок. Его отвязали, бросили в яму. И сразу страшно стало. Кругом тут гиены завывали, – они всегда воют, когда слышат, что человека убивают, всегда воют. А нам стало всем стыдно. Командир все отворачивается, а мы сами-то еле винтовками заслоняемся. Стыдно в лицо посмотреть. Пришли в казармы, а товарищи-то и кричат: «Эх, вы, головорезы, вам только связанных и стрелять!» И дразнили они нас с тех пор завсегда и проходу не давали. А что мы тут? Приказали стрелять – и стреляй, не то самого пристрелят, как собаку; полурота-то сзади выстроилась ведь не в шутку. И я не мог никак успокоиться, все меня совесть-то мучила. А за что это я его все-таки убил? Что он мне сделал плохого-то? И очень уж было тяжело, а особенно, ежели товарищи напомним. Только я это на исповеди батюшке все и рассказал: так и так, говорю, батюшка, человека убил, и душа покою не имеет. А он и говорит мне: «Эх, ты, глупый ты че-

ловек. Принимал ты присягу-то аль нет?» – «Принимал», – говорю. – «Ну, так чего же, – говорит, – тебе и беспокоиться? Разве там не сказано, чтобы убивать врагов внутренних и внешних? Сказано аль нет?» – «Сказано», – говорю. – «Ну, а он враг какой: внешний или внутренний?» – «Внутренний», – говорю, – батюшка, потому самому, что у нас в Рассее этот самый завод бросил и убежал, да притом же и солдат он наш, русский», – «Верно, – говорит батюшка, – все верно. Ну и не горюй теперь, понял?» – «Понял», – говорю.

И вот уговорил, успокоил он меня тогда, стал я меньше горевать, а теперь, с войной-то, и совсем забыл. Только могилу эту в самую первую ночь раскопали и тело его утащили – турки ли, текины ли, кто их знает. Так с тех пор и стоит там эта порожняя могила.

На смерть сестры

Мы ехали из Сарыкамыша. По пути встретился земский поезд. Тут все знакомы – все товарищи по работе. «Знаете? – «Что?» – «Умерла Штерн... Заразилась тифом и умерла».

И как-то жутко нам сделалось от этой недоброй вести. Все принахмурились, задумались. Собрались в столовой и сидели повесив головы. Разговор не вязался. Каждый про себя думал и переживал тяжелое известие. Я помню ее: молодая, красивая, здоровая. Захватила волна и увлекла на общее дело. Там, где-то далеко, ждут, быть может, родители – ждут

и никогда не дождутся. Она пролежала в лазарете Тифлиса 16 дней и не перенесла тяжелой болезни. Там, в Тифлисе, ее и хоронят. Много венков, много слез. Все земцы собрались проводить дорогого товарища. Идет народ чужой, незнакомый народ – и плачет. Благородная смерть.

Много голов задумается, запечалится и затревожится о себе.

Мы как-то притихли. К каждому из нас может слишком легко прийти эта беда. Вот с весной начнется разложение трупов, промчится эпидемия, может быть, и нас подберет за собой. И как-то сами собой нависают тяжелые думы.

7 февраля

На поле битвы

Много народу положили сарыкамышские бои. Крутые, снежные горы помогали пушкам и пулеметам. Затонет, замотается бедняга в снегу, а тут его и прихлопнут. Сделали свое дело и сарыкамышские морозы. Много турецкого войска погибло в пути, много раненых перемерзло в напрасном ожидании помощи. Турки лезли сплошными массами. У них офицеры и вообще командирский состав находится сзади и оттуда управляет ходом; битвы, а наши офицеры лежат в цепи и принимают непосредственное участие. Это имеет, конечно, громадные преимущества, так как чувство панибратства и полного товарищества, сознания одинаковости опасности положения тесно смыкают и являются едва ли не самым важным условием в смысле психологическом. Правда, у нас потери в офицерском составе значительно крупнее, чем у турок, но зато и победы чаще на нашей стороне. А это уж вопрос иной, что важнее: славные победы или сохранение офицерского состава. Эта война не приняла в Турции характера священной войны, что и указывает на искусственность ее создания. Этим объясняются отчасти и геройские захватывания нашими мелкими частями крупных турецких отря-

дов. Не сплоченные общей идеей, силой прогнанные на войну, притом же оборванные донельзя, голодные, они идут в плен, мало тревожась чувством чести, солдатского достоинства или соображениями другого характера.

Даже пленные офицеры не скрывают нежелания воевать и не оправдывают это принуждение высших властей. Был курьезный случай. Какой-то видный турецкий военный чин въехал в нашу цепь, приняв ее за свою, и довольно спокойно сдался, не волнуясь, не озлобляясь, так что у всех явилось разом подозрение на доброкачественность его поступка. Было слишком очевидно, что его сюда привело нежелание биться попусту, быть может, боязнь за жизнь, быть может, общее недовольство политикой германских провокаторов.

Но все-таки у Сарыкамыша были сильные бои. Здесь наших сгрудили нечаянно. В самом Сарыкамыше войска было до смешного мало. Внезапный огонь изумил и остановил наступающие турецкие колонны, а того было достаточно, чтобы дать возможность подойти пластунам. А там, где подошли пластуны, туркам приходится туго. Здесь пластуны то же, что на Западе казаки.

Условия природы обрекли здесь конницу на полное бездействие, но ее роль с не меньшим успехом выполняют пластуны. Они совершают непрестанно геройства, подобных которым не совершал еще ни один полк. Славны кабардинцы, славны туркестанские полки, но лишь отдельными делами, а пластун – или герой, или мертвец. Он только знает два кон-

ца: славную смерть да Георгиевский крест.

И вот подоспели пластуны. Тут заварилось жаркое дело. Несколько полков ударило против несметных турецких полчищ. К разгару боя прибывали новые силы, и в конце концов счет получился такой: против 30–35 тысяч наших войск очутилось более двух корпусов турок, т. е. тысяч 75–80. Тут работали 9, 10 и 11-й турецкие корпуса. Сильно потрепанные, они должны были с позором бежать с сарыкамышских полей. Пластуны подошли неожиданно, как всегда – пластом (откуда произошло и название «пластуны»). Они подошли со стороны нижнего Сарыкамыша, тогда как турки сосредоточились на горе против горного Сарыкамыша, над самым мостом. Наша артиллерия, говорят, действовала изумительно, несмотря на то что количество пушек и пулеметов было совершенно незначительно. Важно было особенно то обстоятельство, что турки здесь вообще не ждали никакого сопротивления, и этот огонь застал их врасплох и навел легкую панику. А потом уж особенно легко было жарить с гор по этим несчетным колоннам. Неожиданность артиллерийского огня и дружный натиск пластунов окончательно решили дело. Турки замялись и побежали по направлению к Ката-кургану. Тут их щипали немилосердно. Пленных почти не брали – всех немилосердно убивали.

Я был на Сарыкамышских горах. Печальная картина. Масса трупов раскидана по склону, а у нижнего Сарыкамыша человек 100–120 просто свалено в кучу и до сих пор еще

не убрано, а тому делу уж несколько недель. Есть хорошие лица. Один молодой красивый турок зажал в руке какой-то кисет да так и остался с ним. На лице – ни морщинки страдания. Правильное, спокойное, красивое выражение, глаза закрыты, верхняя губа немного приоткрыта, и оттуда блестят здоровые, белые зубы. Хороший был сын. В лице какое-то благородство и сдержанность. Он был грациозен и строен, как горец, сладкоречив, как Одиссей. Хитрости совершенно не было – о том свидетельствуют прямой, высокий лоб и тонкие художественные губы. Жалко стало такого красивого, милого юношу. Сколько было впереди жизни – самой полной, самой радостной, и вот, поди ж ты, неожиданно-негаданно угодила шальная пуля прямо под сердце. Мне тяжело было долго над ним останавливаться, и я отошел к старику, который, подложив руку под щеку, скрючился, словно на постели, и совсем не походил на мертвеца. Сморщенное, худое лицо просило непрестанно отдыха. Чувствовалась большая нервность, долголетняя усталость и непрестанные жалобы на тяжелую жизнь. И получалось такое впечатление, что он вот только что пришел с работы – заморенный, больной, и, не дойдя до дому, прилег здесь отдохнуть. А дома уж непременно – ватага черномазых ребятишек и вечно недовольная и ворчливая жена. А теперь вот осталась одна – мается, стонет и вспоминает то и дело своего кормильца-поильца. И сколько теперь у нее нашлось бы для него ласковых, заботных слов, сколько проснулось бы любви, если б только

увидела его здесь, на поле. Но не увидит никогда, да и слава богу, – меньше страдания. Все же будет надеяться: а может в плену, а вот вернется, вот придет снова... Не дожدهшься, старушка, никогда не придет он к тебе.

Два птенца (совсем еще птенцы, потому что им не больше, как по 18 лет) лежат навзничь, лежат чуть не обнявшись: рука одного судорожно сжала плечо другому и застыла в какой-то страстной мольбе. «Возьми, унеси, помоги!..» Не пришел, не помог никто. Мне кажется, что они были друзьями, так много между ними чего-то общего, помимо молодости... Даже и тут, мертвые, они одинаково закинули головы, одинаково расширили свои недоумевающие, испуганные глаза. А глаза страшны. Широко раскрытые, они затекли какой-то молочной жидкостью и ужасным взором, взором нестерпимого страдания и тоски по уходящей жизни, взором ропота и проклятия вперились в голубое, просторное небо. Молодые, полные силы и надежд – подрезались, как былинки, в чужой земле. Почернели, стали разлагаться.

А вот араб. Черный, суровый, властный хозяин широкой степи и своего любимого боевого коня. Конь будет тосковать по нем, будет жалобно и протяжно ржать, напрасно поджидая своего верного и смелого седока. С упорным, почти надменным взором, не призвав мученья, – он умер. Пуля попала в живот, но смерть не могла быть моментальной. Страдания были тяжки и продолжительны. Лицо мало отразило страдания – на нем легла печать сурового проклятья и тоски

по любимой степи. Много и молодых и юных, прекрасных и морщинистых, могучих, суровых и властных, робких, нежных и трепещущих. Не разбирала смерть. Клала ряды за рядами, возвышала свои молчаливые укрепления. Жутко здесь на поле. А это безучастное голубое небо словно презрение затаило в своем беспечном молчании; словно постоянством и неувядаемой своей свежестью хочет особенно и ярко подчеркнуть всю несуразность и дикость этой ненужной, свирепой резни. Успокоились бойцы. Кому-то за что-то отдали свои жизни, кому-то принесли собою жертвы. А жизнь течет, совсем не просит их и только изумляется человеческой жестокости, человеческому неразумию. Шла она, идет и будет идти своим путем. Слишком мало эти жертвы ускорят ее тяжелый ход. Эти жертвы – не добровольные жертвы, а потому и кровь их не очищает. Другое дело, когда целые кадры идут за идею, за святое дело, за ясно сознанную возможность достижения, – тогда на крови павших бондов создаются колонны молодой, новой жизни.

Серые волны

Ряды за рядами вдали колыхались
И, серой волною плывя по снегам,
То медленно, густо и плотно сливались,
То мелкою дробью в полях рассыпались,

Темнея по белым холмам.

И вот они близко... Совсем уж подходят,
Прямыми рядами, как нити, ползут,
Как будто чего-то они не находят,
Как будто в той песне, что глухо заводят,
Они про тоску и неволю поют.

И грустно мне стало от песен забытых,
Повеяло на душу силой родной.
Я видел их гнойных, больных, перебитых,
Мне чудился стон из могил незарытых,
Мне чудилась гостья с косой.

И не было мощи в усталом их пенье,
И не было страсти в померкших глазах.
Они в своем долгом, беззвучном томленьи
Развеяли силы в могучем терпеньи
И жар утишили в сердцах.

И шли они бодро, и песня лихая
Могучим призывом из сердца рвалась,
Но чудилось мне, что та песня больная,
Что в сердце ее, — и борясь, и рыдая, —
Унылая дума вплелась.

Когда же умолкли и тихо, без звука,
Они колыхались, волна за волной.
Мне сделалось жутко. И злая разлука,

И встречи последней прощальная мука
Блеснула за серой спиной.

И радости мощной, подъема живого
Не вызвали в сердце родные полки...
От серой волны и от клича больного
Мне в душу, как будто со дна гробового,
Пахнуло удушьем тоски.

1 февраля

Бегли-Ахмет

Где-то далеко-далеко на Кавказе, в маленьком селении Бегли-Ахмет, стоим и скучаем по работе. Ночь. Тихая кавказская ночь. Темно-синее небо слилось с горами, налегло на белую ризу снегов и пропало вдали темной дымкой. Пусто кругом, скучно. Только собаки воют где-то вдали и усиливают тоску. А потосковать так хочется. Вспоминается семья, вспоминаются дорогие знакомые лица. И сердце все щемит больней и больней. Прошел воинский санитарный поезд из Сарыкамыша. Завтра и мы едем туда.

– Дядюшка, чего ты?

– Ничего, хожу, родимый. Скоро доедем.

– Куда?

– Воевать едем, на позиции.

И сделалось скучно, тоскливо вдвойне от этих простых, привычных слов, сказанных как-то уныло солдатиком в эту светлую, тихую ночь, где-то далеко-далеко в забытом людьми и богом местешке. Верно, вот и он ходит здесь один около вагонов ночью да вспоминает. Дома-то ребяташки. Хорошо там, тепло. Да и ночь-то выдалась такая светлая, тихая. Думы так и плывут одна за другой. Где-то там, еще даль-

ше, позиции. Там холодно, там морозы. Выкопали себе ямки, обернулись в обледенелые шинели и лежат. Спят. Тихо кругом. Только часовые прохаживают, словно ночные привидения. Жутко там, в горах. С первым лучом зашумят, загрохочут чудовища... Закрутятся, завизжат тучи пуль, зарывкает и заухает пушка, задребезжит и быстро-быстро зачирикает пулемет. И польется снова кровь. Снова стоны. Вон я вижу, как облокотился солдатик в снегу и устремил свой прощальный, тревожный взор к небесам. А в небесах так хорошо. Солнце поднимается, серебрятся вершины, горит, горит снег. Утоптали равнину, залили кровью, забыли товарищей и бросились вперед. «Ура!» – грозно прокатился по горам призывный клич, и серые массы бросились куда-то вперед. А там уже испуганные крики, суматоха. Бегут, кричат, бросают все до пути, и все бегут, бегут. А вдогонку им сыплются градом губительные снаряды, и один за другим падают уставшие. Кончился бой. Снова все вместе. Все. Нет, всем вместе уж не бывать нам. Не собраться снова у одного котла, не поболтать в свободную минутку. Там, на снежной поляне, стонут и мучатся от боли старые друзья. Изуродованные, разбитые, бессильные.

У нас – словно похороны. В эту тихую, светлую ночь как-то становится более в дикой, глухой стороне. Два товарища лежат. А мы вьемся около них, дрожим, молим о чем-то. И сделалось всем невыносимо тоскливо. Их перевели в другой вагон. И жутко смотреть на опустелые места. Вчера

еще они были здесь, болезнь захватила разом, понадобилось удалить. Мы все с ними, мы не можем расстаться, оставить их одних. Скучно, нудно, жутко.

20 марта

Нечего делать. Опустились руки, перестала работать мысль, и скорбно сделалось на душе. Пусты целые дни, пусты долгие вечера. С камнем на сердце ложишься в постель, с непроглядным туманом в душе, со страхом перед ужасающей пустотой просыпаешься поутру. От завтрака до обеда, от обеда до чая, от чая до ужина. И так целые месяцы. Изредка мелькнет работа, мелькнет, словно привидение, маленькая, короткая, растрavляющая, – и скроется вновь. За три месяца было всего пять рейсов коротеньких, малодневных. Все, все померкло. Первоначальная идея не то исчезла, не то затуманилась временно от этой убийственной безработицы, – я не знаю. Высокий, благородный подъем, жажда дела, помощи, самоотверженной работы до усталости, до пота в лице – все это тревожит и вызывает краску в лице, как далекие, милые, святые пожелания, разбитые в прах. Мы ехали сюда, словно окрыленные, мы ждали простора истомившейся душе, ждали полного утoления. И что мы нашли? Пустую, скучную, разлагающую жизнь; ряд житейских, будничных недоразумений, по временам захватывавших нас за живое, ряд ссор, самых возмутительных и примитивных, ряд наслаждений и удовольствий самых мещански-обыденных, самых притупляющих и глупых.

Жизнь сделала свое. Причудливо-яркие, восторжен-

но-красочные и высоко-благородные порывы она приняла в свои скользкие объятия и покрыла все сглаживающей, все примиряющей слизью. Она уняла, утишила наше святое безумство, она вместо ризы одела нас в теплые спальные халаты и превратила из героев в самых пошлых тунеядцев и злобствующих пошляков. Душа как-то онемела: лень двинуться, лень думать и жить бодрей. Мы бог знает что делаем целые дни: играем на гитаре, мандолине, поем, шутим, — и все это взамен лучших наших ожиданий, взамен мечты о героических подвигах. А там, на далекой родине, мы еще не развенчаны. Там не сняли с нас того ореола, который мы еще и не надевали до сих пор. Там думают о нас так, как думали мы о себе, когда ехали на работу. Письма дышат любовью, заботой и преклонением. Присылают нам вырезки из газет, где помечены случайные страхи нашей жизни: сыпнотифозная смерть, случайное пленение санитарного поезда, зверства курдов. Присылают — и видно, что дрожала рука, когда резала газету; капали слезы, когда запечатывалось письмо, болела, болит и долго будет болеть душа при воспоминании об этих ужасах. Там предполагают страшную эпидемию на Кавказе, а между тем всего неделю назад во всех бараках Тифлиса помещалось больных сыпным тифом 71, брюшным — 40 и оспой — 32. Ну, где же тут ужас? Умер Геловани. Ну, тут ужасы возросли до максимума: раз Геловани не могли спасти, что же будет с простыми смертными? А дело просто: он слишком долго не мог переправиться из Карса в хорошие

больницы Тифлиса и приехал сюда почти перед самым кризисом. Карский уход был слаб, и он не выдержал кризиса...

Послезавтра Пасха. Как чувствовались дома эти дни и как безучастно и холодно встречаешь их здесь! А тут, как нарочно, несчастья по товариществу: Маргарита все еще лежит в лазарете, Саша перевелся в другой поезд, Яша уехал в Батум ходатайствовать о переводе в летучий отряд, а Нико подал в отставку. «Шестерка» распалась окончательно, прежней теплоты нет в помине. В поезде, чем дале, становится неприятней и холодней. Нет того милого кружка теплых друзей, где можно было похоронить свою тоску и муку безработицы; нет лучших, надежных людей, нет товарищей, с которыми было легко и приятно. Все пошло вверх дном, и сделалось душно.

Пасхальная ночь

Поезд в пути. У всех лишь одна тревожная мысль: доедем или нет. Машинист мчит что есть духу, насколько позволяют крутые горные подъемы, – верно, его тревожит та же мысль, что и всех нас. Еще далеко, еще много ехать, а времени много. Хоть бы к утру приехать. Скорей, скорей поезжай. Уж близко, все меньше остается. А ночь так темна, так жутко, неприветливо в горах. Мчится поезд, а навстречу во мраке выдвигаются огромные темные горы. Стоят, молчат, словно застывшие великаны. Шумят неугомонные реки. Весна дала им свежие потоки, и мчатся, гремят они по камням. А в го-

рах тихо. Ветер стих, небо прояснилось, заблестели звезды. В горах, должно быть, тихо-тихо – и жутко. Только реки шумят в отдаленье, да беспокойные жители ночи изредка прорежут страшную тишину – и снова все смолкнет. Везде ты, ночь, прекрасна! Тиха, молчалива и величава. Невольно душа летит тебе навстречу и переполняется твоей дивной тишиной. А сколько чистых, понятных звуков уловишь в этой ненарушимой тиши, сколько поймешь невысказанных слов, безмолвных призывов.

Ты вбираешь в себя из души все позорно-человеческое, все наше, земное, и оставляешь одного лишь человека самого по себе, наедине со своей чистой совестью. Сколько укоров родится в эту ночь, сколько родится благородных порывов! Мать. Сидит она и плачет, непременно плачет: в такую ночь не может не плакать она о далеких, любимых сыновьях. Там все уже сделано. Вымыты полы, настелили чистые половики, на столах чистые скатерти, – я так люблю их белизну во тьме. Тихо в комнате. Все собрались в кухне. За долгий, суетливый день измаялись все. Истомленные, печальные – отдыхают. Собрались у стола, закусывают. И непременно уж тут жареный картофель – что же больше? Сидит нянечка: худая, понурая. Мама, ни к кому не обращаясь, говорит: «Прошлую Пасху вместе встречали». Все молчат. Показались слезы, заплакала мать. Тут Шура сидит – угрюмый, робкий, чего-то все сторонится, боится. Глаза пугливые, невеселые. Он всегда таков, а теперь тем более: знает, что открылась чахот-

ка. Сидит, молчит и как-то пугливо поглядывает на плачущую мать. Блестят огромные, черные, глаза, светится высокий лоб – молчит Лиза и только изредка поглядывает на маму. Сережа водит вилкой по столу, ни на кого не смотрит и томится тяжелым настроением. Настя плачет: она всегда плачет, если плачут другие, – робкая, чуткая, милая девочка. Посидят, разойдутся. Дети будут спать до заутрени – не с кем теперь им коротать это время. Няня будет еще долго возиться возле печи, а Шура ляжет и будет долго, упорно и тяжело смотреть в потолок.

Молится мать. Стоит на коленях в полутемной комнате. Слезы градом катятся из глаз, судорожно прижимается ко лбу исхудалая рука, – она все просит, бесконечно умоляет Бога сохранить дорогих детей. Дрожит, трепещет лампадка. Пусто, жутко здесь без милых людей. Холодно ей, тяжело. Опустилась бессильно на пол, замерла в горячей молитве и не может никак подняться. Горит душа, тоскует. Неужели всему конец? Неужели невосвратимо? Господи! – и засохшие губы шепчут, торопясь и перебиваясь, какие-то непонятные слова. Слились они в одну тревожную мольбу – и не понять, чего в ней больше: просьб, надежд или необдуманных укоров.

«Господи, неужели? Пощади! За что такое горе? Что ты караешь так немилосердно, чем я прогневала тебя? Год с годом все тяжелей, невыносимей. Когда же будет отдых, когда же радость-то будет, придет покой?» И катятся, катятся

неутешные слезы. Холодный лоб давно уже не поднимается с полу, грудь тяжело вздыхает и стонет, рыдания глохнут и застывают в тишине. Эх, мать, как тяжело-то тебе!

Поплетутся к заутрене. Быстро, наспех одеваются, торопятся, снуют во все стороны. Собрались, пошли. Еще совсем темно, только огни поблескивают вдали. Раздаст мама детям копеечки, и двинутся... Верно, на кладбище пойдут. Придут, самовар поставят, окружают его. Только грустно будет за этим самоваром. Шура сидит больной, невеселый. Аркаши, Сони и меня нет. Пусто, скучно. И вместо радостных воскресных разговоров будет тосковать и плакать горемычная мать. Все-то она плачет, все-то кого-нибудь жалеет – уж такой, знать, удел материнский. Засиротела наша обильная семья, разлетелись птенцы из теплого гнезда в разные стороны. Придет день. Пойдет мама навестить по обыкновению немногих близких родных. Будут плакать с тетей Машей; она тоже будет поминать любимого сына, что встречает праздник в холодных окопах на вражьей земле. Всюду нехватка, всюду горе. И куда она ни кинется со своей тоской – всюду навстречу выставят ей горшую тоску, более острое горе. У мамы еще одна тревога, а сколько уж перебито, искалечено знакомого народа! И каждому в эту ночь невольно вспомнится живо и ярко недавно погибший человек.

Эривань

Приехали вовремя, не было еще и двух часов. Ночь была

темная; луна все пряталась за облака. По незнакомому городу трудно было бродить впотьмах. Вдали виднелся храм, мы пошли туда. Какие-то огороды, сады, поля. Залезли не то в болото, не то в грязь – постояли, подумали и решили, что не поспеть нам. Пришли домой. И какая это была торжественная, радостная минута, когда все мы собрались у накрытого стола! Тут уже пошло все вверх дном. Появилось вино, коньяк. Настроение привскочило в 5-10 раз. Были бесконечные тосты, поздравления, приветствия. Пили за нашу семью, за нашего спящего врача, за отдельных членов товарищества. Один товарищ все привязывался ко мне и на ухо таинственно шептал:

– Как это там, у Достоевского... за придавленных, за... за бедных. я уж в таком теперь состоянии, что хочется за них, за несчастных.

– За униженных и оскорбленных, – сказал я.

Он обрадовался и хотел было кричать, но его пришлось унять: как-то диссонансом могло прозвучать его пожелание. Другой приятель настолько расчувствовался в патриотическом подъеме, что крикнул: «За здравие павших воинов», – и долго не мог понять, в чем тут ошибся, в чем неточность выражения.

Появилась гитара, мандолина. Загремели любимые песни. Дело пошло ходом. Я после первой же рюмки почувствовал себя гадко и перестал пить. Мило, любо было смотреть на ликующую ватагу друзей, так тесно сплоченных почти необ-

ходимостью. Молодость широка, многое умеет простить от сердца, потому ей легче и радостней жить.

А потом долго ходил я с Кетти по рельсам, и она рассказывала про дорогого жениха, убитого шесть месяцев назад. Бедная все плачет, одна оставаться не может. Это ли не тяга?.. Да если вот Ная... Тут что уж останется в жизни?.. Цветов не будет. Смысл и необходимость, конечно, останутся, но цветов радости не будет. Оно, пожалуй, и радость будет, но уж не та, другая, этой вот чистой, весенней прелести не будет. Я говорил все Кетти, припоминая Бранда, что сжечь, уничтожить надо всякие памятки о любимом человеке, а в душу западало сомнение: так неужели бы и я сжег дорогие карточки любимой Наи, неужели все-все бы сжег? И письма? Да ведь в них полжизни для меня. Когда перечитываю – сердце выпрыгнуть хочет. Говорил я и мало верил в слова. Я видел в них логический смысл, видел значительность их и серьезность, но чувствовал и безжизненность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.